

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е С Я Т А Я

О К Т Я Б Р Ъ

М О С К В А

д . 9 . 3 . 1

СОДЕРЖАНИЕ:

1. АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ. — Россия, кровью умытая, главы из романа	5
2. И. БАБЕЛЬ. — Гапа Гужва, из книги «Великая Криница»	17
3. И. БАБЕЛЬ. — В подвале, из книги «История моей голубятни»	22
4. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Море, люди, дни, из книги «Полод Седова», продолжение, с иллюстрациями	26
5. МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ. — Четыре стихотворения	52
6. ЛЕВ НИКУЛИН. — Записки спутника, воспоминания, окончание	55
7. СЕМЕН ОЛЕНДЕР. — Вступление к поэме «Красная гвардия»	89
8. НИК. ТАРУССКИЙ. — Стихотворение	90
9. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, продолжение	91
10. П. ЖЕЛЕЗНОВ. — На курорте, стихотворение	103
11. АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР. — Сквозняк, стихотворение	104

ЛЮДИ И ФАКТЫ.

12. ВЛАДИМИР ЮРЕЗАНСКИЙ. — Комсомольская лава, очерк	105
13. ДАНИИЛ ФИБИХ. — Бой за мясо, очерк	111

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО.

14. ДИСКУССИЯ В ВССП	
I. Речь Л. ЛЕОНОВА	123
II. Речь Л. СЕЙФУЛЛИНОЙ	125
III. Речь В. ПОЛОНСКОГО	128
IV. Речь П. СЛЕТОВА	139
V. Речь П. ПАВЛЕНКО	143
VI. Вторая речь В. ПОЛОНСКОГО	147
15. ИНН. ОКСЕНОВ. — Пушкин и советская литература	165
16. ИГН. ХВОЙНИК. — Мещанские тенденции в оформлении советской массовой посуды, с иллюстрациями	169

НАУКА И ЖИЗНЬ.

17. В. Е. ЛЬВОВ. — Альберт Эйнштейн в союзе с религией 186

ЗА РУБЕЖОМ.

18. С. ГАЛЬПЕРИН. — Рушащиеся устои, очерки международной
политики 198

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

- Т. НИКОЛАЕВА. — А. Чистяков «Боковой ход» 205
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — В. Цыкунов и Н. Чертова «Огненная
земля» 206
Я. БУЧИЛОВ. — В. Ставский «Разбег» 206
Я. ФРИД. — Андрэ Жид «Путешествие по Конго» 207
Н. СЕДОВ. — Н. Телешев «Литературные воспоминания» 208

Россия, кровью умытая

Главы из романа

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

Над Кубанью - рекой

В России революция, по всей-то Расеюшке грозы гремят, воды шумят.

С таница уселась верхом на реку: по один бок жили казаки, по другой — мужики.

На казачьей стороне — и базар, и кино, и гимназия, и большая благолепная церковь, и сухой, высокий берег, на котором вечерами собиралась гуляющая и горлающая молодость, а по праздникам играл духовой оркестр. Чистые хаты и дома под тёсом и железом стояли строгим порядком, прячась в зелени вишневых садов и акаций.

Большая весенняя вода приходила к казакам в гости под самые окна.

Мужичья сторона водой заливалась. Кое-как, будто нехотя, огороженные камышевыми плетнями, подслеповатые саманные мазанки пятились на пригорок, уползали в степь. Летом пылица, осенью грязь коням по брюхо. Кое-где торчали чахлые деревья с оборванными на веники ветвями. И скотина мужичья была мельче, и сало на кабанах постнее, и шерсть на овцах грубее. Хлеб мужики ели простого размола, да и то многие не досыта.

Казаки почитали себя коренными жителями, на мужиков посматривали косо, редко рождались с ними браками, чинили им всевозможные земельные утеснения и не допускали к управлению краем. Вражда велась издавна. Кладбище и то было два. Казачье — с чугунными решетками и высокими крестами, под которыми тлели кости атаманов, старшин, героев. По неогороженному мужичьему

кладбищу бродила скотина, и были на нем лишь две примечательные могилы — купца Митрясова, дикого обжоры, подавившегося на своей свадьбе говяжьей костью, да неуловимого разбойника и чертозная Фомки Кривопуза.

На крутом берегу Кубани, глазами на реку, стоял каменный дом старожилго казака Михайлы Черноярлова. Славился дом крепким родом, конями, былой доблестью и богатством. Михайле перевалило за седьмой десяток, но здоровьем он обладал еще железным. Большой, черный, — лицо его было похоже на лоскут кошмы, — в старом, дозелена выгоревшем чекмене, туго перетянутый наборным поясом, спозаранок он расхаживал по двору, присматривая за работниками, снохами, внуками, всем находя дело и всех разнося за нерасторопность. В неположенное время при нем никто не смел засмеяться или сесть без разрешения. В свободный час Михайла запирался в угловой полутемной комнатушке, куда бабам доступ был запрещен, и нараспев читал библию или выходил к воротам поговорить со стариками и выкурить окованную серебром трубку, в которую сразу заряжал осьмушку махорки. Русая с прочернью борода расстилалась по его могучей, как колокол, груди; из-под обкуренных дожелта усов сверкали в усмешке крупные и целые все до единого зубы; высоко поднятую голову с подрубленным в скобку волосом крыла форменная с захватанным козырьком фуражка.

Жизнь свою Михайла провел на коне. Он помнил Хивинский поход и последнюю, 1877 года, Турецкую войну, замирял непокорных горцев, был на польском восстании, служил в Петербурге, и когда, после Японской кампании, вернулся домой, его встретили бородатые сыны, подростки внуки. Михайла пустил походного коня в войсковой табун и заделался домоседным казаком.

За окнами, под обрывом, сверкая, бежала река. Бежали годы, играя, как гребнем волны, днями печали и радостей... Умерла старуха, дочери повыходили замуж, кто куда разлетелись и сыны.

Старший, Евсей, был подсечен в Манчжурии пулей хунгуза.

Подстарший, Петро, без вести пропал на усмирении.

Третий сын, Кузьма, промотав выделенную ему долю и покинув на руки отца двух внуков, ушел к полтавскому помещику наниматься в стражники и тоже как с камнем в воду.

У среднего, Игната, драгунский полковник сманил и увез невесту. Тихий от младости своей Игнат с великого горя ушел куда-то за Волгу в раскольничьи скиты и давным-давно не подавал о себе ни знака, ни голоса.

Сын Василий пристрастился к торговле и отбился от казачьего роду. Долгое время он барышничал лошадьми, наваривая на грош пятак, и все возил да возил в банк просаленные потом и дегтем мужицкие рублевки. Перед войною скупил на Азовском побережье несколько мелких рыбных заводов, сгробал в городе каменный трехэтажный дом, на широкую ногу открыл торговлю, вырастил и вывел в офицеры двух сыновей. Однажды он прикатил в станицу на собственном автомобиле. Михайла запер ворота на железные болты и спустил с цепи кобелей. Разбогатевший сын покрутился под окнами отчего дома и уехал в смертельной обиде.

Отломленный кусок и надмладший сын Дмитрий. Рос он вялым и хилым, отца боялся пуще огня, пускаясь в слезы и впадая в дрожь от одного его голоса. С детства любил церковное пение, прислуживал в алтаре. Станичную школу окончил с похвальным листом, стал проситься в город. Отец призывал на него и целый год продержал взаперти,

приспосабливая к работе по дому. Покорный сын за все брался безоблыжно, но дело как-то не спорилось в его неживых руках. «Не выйдет из тебя ни доброго казака, ни крепкого хозяина, — сказал отец, выпроваживая его со двора. — Езжай, задохлец, учись». Пролетело время немалое, семья стала уже забывать оторвыша, но вот из столицы вернулся, отслужив срок, вахмистр Вавила Сердягин, и от него станичники узнали, что Митька Чернояров адвокатствует в Петербурге и обзавелся женой-барыней.

Младший сын Иван и нравом, и статью весь вышел в отца. Тот же крутой характер, природное удалство, любовь к движению. С юных лет он отбился от двора и вырос неграмотным. Дома жил только зимами. Каждую весну убегал в степь к чабанам или в приазовские плавни к рыбакам и лишь с первыми заморозками возвращался в станицу, обветренный и оборванный, с руками, истрескавшимися от цыпок, с рублями, звенящими в карманах холщевых штанов. В наше время ни на Кубани, ни на Тамани не осталось диких мест. Через горы и болота легли дороги, реки опоясаны мостами, распахан и затоптан каждый клочок земли, само море пятится перед человеком, и там, где еще на памяти стариков все тонуло в непролазных золотых камышах, ныне разрослись хутора, рыбацьи курени, станицы. В поисках забав Ванька забирался в такие чащобы, куда редко зааживал и заправский охотник. Путанные и неясные, как намек, тропы выводили его на подернутые дрязгом ржавые болота, на раздолье светлых лиманов. Над лиманами вились тучи чаек и бакланов, дремал камыш, шурша сухим листом. Ночевал на обсохших кочках, кормился чем придется. Годам к пятнадцати он умел вязать и насаживать сети, по звездам находил дорогу, по ветру предугадывал погоду, выслеживал кабанье гайно и, поколов поросят самодельной пикой, приносил их на рыбацкий стан. По весне, после спада воды, знал, в какое озеро и какая зашла рыба, куда сазан пошел метать икру, изучил повадки рыбы в водах проточных и стоячих, пресных и морских. С большой точностью по близким и далеким звериным крикам

определял возраст зверя, понимал язык птицы, знал, когда и какая птица живет в степи, какая в лесу. Плавал так неслышно и проворно, что ухитрялся подобраться в камышах к выводку и побивал утят палкой. Будучи уже парнем, повадился хаживать за Кубань, где, соследив волчиные и лисьи ходы, расставлял капканы на черкесской земле, что считалось у казаков особенным удалством. Там сдружился и с Шалимом, с которым после судьба крепко и надолго связала его. Стрелял он отменно, попадая пулькой в лезвие кинжала на сто шагов. Отлично работал и шашкой, на лету рассекая серебряный полтинник. Полевой и домашней работы с малолетства не признавал, зато в плясках, драках и джигитовке всегда был первым. В будни и в праздник шлялся по улице, горланя песни и сводя с ума девок. Одна ночка темная знала, откуда казак добывал деньги на гулеванье. Болтали, будто удалец водится с отпетыми конокрадами, но пойман он не был ни разу.

Война раздергала семью Черноярных.

Мобилизовали внука Илью, внука Алексея. За ними, не дожидаясь срока призыва своего года, увязался и Ванька. Михайла наложил на сыновнее решение запрет — он еще надеялся, что парень остепенится и примет на себя хоть часть забот по хозяйству.

— Батяня, благослови, — повалился Ванька отцу в ноги.

— И думать не моги.

— Отпусти.

— Принеси-ка плеть, — загремел взбешенный его упорством старик, — отпусти тебе с полсотни горячих.

Этот последний памятный разговор происходил на базу. Сын усмехнулся и, храня видимую покорность, принес плеть.

— Ложись, сукин сын, спускай штаны.

Ванька заупрямился. Первый же удар просек ему кожу на лбу до кости. Ослепленный болью, он сшиб отца с ног и пинками покатыл по базу. Старик выгнал его из дому и — самая большая обида — не дал строевого коня. Ванька наперекор отцовской воле добыл коня за Кубанью, сманил из аула своего од-

нолетка, дружка Шалима, и с казачьим эшелоном — на фронт.

Война качнула станицу, станица крякнула, расставаясь с молодежью. Не одно девичье сердце стонало голубем, нарядное рыданье жен и матерей мешалось с пьяными песнями и ревом гармошек.

А там пошли и бородачи призывных годов.

Кони понесли казаков в Персию, Галицию, под Эрзерум и с экспедиционным корпусом — через моря и океаны — в далекую Францию. Много чубатых голов раскатил ветер по одичавшим, залитыми кровью полям. Бабы слезы размывали каракули писем, присылаемых с фронта. В полутемной станичной церкви не одна трясущаяся рука ставила перед образом свечку и творила крестное знамение, вымаливая спасение родным и гибнущим.

Война пожирала людей, хлеб, скот.

С улицы словно выдуло смех и веселье. Поредели табуны коней и отары овец. Сорные травы там и сям затягивали степь, кошмой стлались поваленные осенними ветрами неубранные хлеба. Затем неожиданно налетела революция и закружила, завертела станицу.

На Кубани, как и по всему лицу земли русской, новые песни принесли с собой фронтовики. В лохмотьях, во вшах и язвах они расползались по станицам и хуторам. Каждый из них, как пушка, был заряжен непримиримой злобой к старому-бывалому.

Проглянуло солнышко и на дом Черноярных.

Одним днем, ровно сговорившись, приехали сын Иван и сын Дмитрий с женой.

— Здорово, казаче, — встретил их отец.

— Здравия желаю, атаман, — устало улыбнулся Иван.

Старик расцеловался с сыновьями.

— Где Илюшку потеряли? — спросил он. — Где Алешка? Наши писали, будто его... того, да я не верю.

— Верь. Алексея под Перемышлем убили, батарея Степка Подлужный сам мне сказывал.

— Угу, пиши — пропал казак.

— Илька в плену.

— Так, так... Два брата, два мосла, а третьего собака унесла, — старик перекрестился, закусил бороду и, постояв короткую минуту в печати, повернулся к сыну Дмитрию: — Ну, а ты на войне был?

— Нет, папаша, меня освободили как слабогрудого.

— Э-э, тухляй... И в кого ты, бог тебя знает, такой уродился... Позоришь наш род, племя. Я в твои годы лошадь в гору обгонял.

Дмитрий виновато опустил глаза и пробормотал:

— Я хотел... Но так вышло... Я не виноват... Теперь приехал в родные палестины отдохнуть и переждать, пока вся эта канитель кончится... Вот моя жена, Полина Сергеевна.

Михайла искоса глянул на остроносую молодую женщину, перебивавшую в руках серебряный ридикюль, и равнодушно сказал:

— Живите, куска не жалко. Около меня чужого народа сколько кормится, а ты, как-никак, нашего чернояровского заводу.

Повел сыновей по двору.

Крепкая стройка, пудовые замки, псы, как львы. Пахло прелым навозом и нагретой за день сдобной землей. Под навесом, между двумя стояками, на деревянных крючьях была развешана жирно напоенная пахучим дегтем и остро сиявшая серебряным и медным набором сбруя. Всего противу прошлого поубавилось, но было еще достаточно и птицы, и скота, и хлеба. На погребе — кадки масла, тушки осетров своего засола, бочки вина своей давки, под крышей связки листового табаку и приготовленные на продажу тюки шерсти-шленки.

Старик нацедил из уемистого боченка ковш виноградного, отдающего запахом росного ладана вина и, отхлебнув, подал Ивану:

— Со свиданьем, сыны.

— Как оно, батяня, тут живете и чем дышите?

— Слава царице небесной, есть чем горло сполоснуть, есть чего и за щеку положить. Один казакою, а все тянущь, наживаю. Суета сует и томление духа, как сказал пророк. Гол человек приходит на землю, гол и уходит. Вы, сукины коты, на мою могилу и плюнуть ни

разу не придете. Из меня — душа, из вас — добры дни. Все до последнего подковного гвоздя без меня спустите, без штанов пойдете с отцова двора. Помните мое слово.

— Напрасно вы, папаша, так, — встрепенулся Дмитрий. — Я в Петербурге большие деньги зарабатывал. Имел свой выезд, свою дачу, дом собирался купить... Какое однако холодное вино — зубы ломит.

— Дача, выезд, миллионщик... А с поезда чемодан на горбу приволок.

— Что делать? Все отобрали. В пути остатки дограбили. Вы, тут сидя, и представить не можете, какой ералаш творится в столице, в городах и по дорогам. Сам не чаял живым выбраться.

— Тюрю. Да я бы...

— Хитро жизнь повернулась, — весело сказал Иван. — Кто был чин, тот стал ничем.

Старик нацедил еще ковш и выпил, не отрываясь:

— Дисциплину распустили, оттого и бунт на Руси. Духу глупого развелось много. У нас, бывало, вахмистры представляли атаману ежемесячные реестры об образе мыслей каждого казака, и все было, слава богу, тихо... Дали бы мне казачий полк старого состава, живо бы усмирил мятеж на всей Кубани. Я бы им раздоказал.

Дмитрий замахал руками:

— Ай-яй-яй, да вы, папаша, — старорежимник... Так нельзя. Революция, если она не выливается из берегов благоразумия, крайне необходима для нашей темной Расеюшки. В Европе еще в прошлом веке происходило нечто подобное. Французы своему королю даже голову отрубили.

— Бунты у нехристей нас не касаются. Всяк по-своему с ума сходит: китайцы вон мышей, лягушек и всякую нечисть жрут, калмыки и падалью не брезгуют. Да. Кубанское войско недаром когда-то песню певало: «Наша мать-Расея — всему миру голова». Все у нас должны жить под страхом. — Старик разгладил усы и заскорузылым пальцем погрозил невидимому врагу. — Дали бы мне регулярный казачий полк, м-м-м, зубом бы натянул, а свел бы с Кубани крамолу, только бы из них пух бы полетел. Потом выставил бы казакам

богатое угощение, те перепились бы на славу, тем бы и все кончилось. Ну, рассказывай, Ванька, об усердии по службе и об успехах по фронту.

За храбрость и сметку Ивана не раз представляли к наградам, но кресты и медали не держались на его груди. Парень он был огневой и дикий: то шутку какую выкинет, то начальству согрubit, — награды у него отбирали, из чина урядника и подхорунжего снова разжаловывали в рядовые. Однажды за неплату карточного проигрыша Иван в кровь избил своего сотника. «За оскорбление офицера действием» он попал под военно-полевой суд. Ему грозил расстрел. Революция распахнула перед ним ворота тюрьмы.

— Как же это вы немцам поддались? — допрашивал отец. — Опозорили седую славу дедов.

— Мы—немцам, вы—японцам, что о пустом говорить? Немцы нам глаза протерли, на разум дураков наставили. Царский корень, батяня, сгнил. Пришло время перепахивать Россию наново, пришло время ломать старую жизнь.

— Палку на вас хорошую.

— На драку много ума не надо.

— Чем же тебе, сынок, старые порядки не по нраву пришлись? Или ты нагбос ходил, или тебя кто куском обделял? Засучивайте рукава, приступайте к хозяйству. Умру — ничего с собой не возьму, все вам оставляю. Дом — полная чаша. Вам только придувать, заживете, как мыши в коробе.

— Богатства нам не наживать, мы враги богатства, — глухо сказал Иван. — Нас фронт изломал. Три года не три дня. Малодушные устали, да и крепким надоело. И во сне снится — вот летит аэроплан или снаряд, вскакиваешь и кричишь.

— На фронт тебя ни государь, ни я не посылали — сам пошел.

— Мне хоть и надоело, а с буржуями еще бы годик повоевал. Корниловы-Керенские: всех их на один крючок. Через ихние погоны и золото слезы льются. Новую войну надо ждать, батяня.

— Чего мелешь? Какая война и с кем?

— Направо-налево война. Тут тебе генералы, тут ученые, тут мужики... На-

гляделся я на казанские-рязанские деревни: плохо живут — теснота, духота. Он хоть и мужик, — кругом брюхо, — а есть пить все равно хочет. И иногородний крикнет: «Твое — мое, дай сюда».

— Дело не наше. Земля казачья, и права казачьи, а мужиков гнать отсюда в три шеи. Пускай идут с помещиками воюют, там угодий много. У них в России лес, мы за ним не тянемся. В Сибири золото, и золота нам не надо. Чиновники и мастеровщина жалованье получают, нам до того тоже дела нет. Мы тут с искони веков на корню сидим. Отцы и деды наши кровью завоевали эти земли, и мы никому их не отдадим.

— Горцы?

— Азиятцев загнать к чорту еще дальше в горы. Не давать им, супостатам, из Кубани и воды напиться.

— Тому не бывать, батяня.

— Думай всяк про себя, всех не нажалеешься. Да что там много говорить, мы не спим, дело уже делается.

— Дело делается, да не пришлось бы его переделывать...

— Замолчи, брательник, ты ничего не смыслишь, — зашумел расхрабrevший от вина Дмитрий. — Извини меня, Ваня, но ты еще молод. Ты не понимаешь всего величия и размаха казачьей души. Не подумай, что я барин... Старые сказания, песни, славная история казачества... Как это поется: «Садись, братцы, в легки лодочки; на носу ставь, братцы, по пушечке». В Петербурге у меня остались редчайшие книги о казачестве, вот тебе бы почитать... Смешно вспомнить, однажды я одел черкеску и так в черкеске прошел по всему Невскому проспекту...

— Нам надо жить так, как живет весь простой народ, — сказал Иван, обращаясь к отцу. — А вы, старые хрычи...

— Ванька, не забывай бога и совесть. Держи руки по швам и не смей рассуждать, что тебе мило, что немило. Башку раскрою за твое грубиянство.

— Зачем соориться, — встал меж ними Дмитрий. — Мы так давно не видались. Пойдемте в хату, пора ужинать. И потекли размеренные дни.

Михайла не верил чужому глазу и порядок в доме вел сам. Подымался ни

свет, ни заря, шел по двору в первый обход, — заглядывал на баз, сажал на цепь кобелей Султана и Обругая, будил работников.

Казачки будто за делом забежали к Чернояровым, во все глаза рассматривали петербургскую барыню и поголовно оставались недовольны ею: и тоща-то она, ровно ее кто и спереди и сзади лопатой хватил, и шляпка смешная, и ноги тонки, ровно у козы.

Дмитрия осаждали мужики.

— Скажите вы нам, Дмитрий Михайлович, вы человек ученый, все законы наперекрест знаете, как оно будет? Сеяли мы с зятем Денисом тридцать десятин...

— Знаю, знаю... Ты уже сто раз рассказывал... Необходимо сперва устроить всю Россию, а потом можно говорить о твоих тридцати десятинах. Учредительное собрание, которое...

— Да как же оно так? На што она мне сдалась, Расея? Дочке чоботы новые я купил? Купил. Воз хлеба под крещение ссыпал? Ссыпал. А теперь тот зять Денис мне и говорит: «Я тебе, такой-сякой, глаза повыбиваю». Это справедливо?

— Ты пойми, дядя Федор, я говорю тебе как адвокат. Земельные споры не могут быть решены ни нами с тобой, ни нашим станичным обществом. Учредительное собрание или наша кубанская Рада прикажут делить землю всем поровну — делать нечего, мы, казаки, подчинимся...

— А ежели не прикажут?

— Там видно будет.

— Да чего ж там видеть? Все делается с мошенской целью...

— Ну, с тобой, я вижу, не согласишься. У меня даже голова разболелась. Приходи завтра, напишу жалобу атаману на зятя Дениса.

Дмитрий с женой уходили в степь.

Через всю станицу их провожали мальчишки. Как бесноватые, они свистали и вопили:

— Барин, барин, дай копейку.

— Барыня, барыня, строганы голяшки...

Мертва лежала степь, исхлестанная дорогами, в лощинах и на межах еще держались снега, но солнце уже набира-

ло силу, пригорки затягивало первым, остро пахнущим полынком. Тростью Дмитрий обивал почерневшие, прошлогодние дудки подсолнухов и шумно радовался.

— Простор! Красота! Степь, степь... Она помнит звон половецких мечей и походы казацких рыцарей. Вон Пьяный курган: лет пятьдесят назад казаки сторожевого поста в троицын день перепились и были поголовно вырезаны черкесами... Сколько забытых легенд и славных былей... Да, не раз казачество спасало Русь от кочевников и ляха, ныне спасет ее от хама и большевика. Дух предков жив в нас, и, если будет нужно, мы все от мала до стара возьмемся за оружие...

— Ну, нет, — целовала его Полина Сергеевна в щеку, — под пули я тебя не отпущу. Ты должен беречь себя.

Иван нигде не находил себе места. Ничто не веселило его, и в своем доме он чувствовал себя как чужой. По вечерам встречался в садах с писаревой дочкой Маринкой и жаловался:

— Скушно мне, Маринушка.

— Тю, дурной. С чего ж тебе скушно?

— А не знаю.

— Пойди до лекаря, он тебе порошков даст от скуки, — она смеялась, ровно цветы сыпала. Прыгала круглая — кольцом — бровь, во всю щеку играл смуглый румянец, икряная была девка.

Было время, когда Иван бежал к ней на свиданку и от радости уши у себя видел, но теперь все было немилостиво ему.

— Воевать я привык, а у вас тут такая тишина...

— Ах, Ваня, какой ты беспокойник. С одной войны возвратился, о другой думаешь. Ни письмеца мне с фронта не прислал, зная, забыл совсем... Коли не любя, скажи прямо, я сама не погонюсь.

— Любя, — тянулся к ней Иван и со злостью щипал крепкую грудь.

Она взвизгивала, била его по рукам платком с семечками и шипела:

— Не лапай, не купишь.

— Зачем молодость под юбкой носишь? Засохнет, как мочалка.

— Я дочь хорошего отца-матери и до поры ограбить себя не дам. Коли лю-

бишь, выбрось затей из головы, засылай сватов, — в темноте поблескивали ее соколиные очи, и, точно в ознобе поводя крутым плечом, она еле слышно договаривала. — Все твое будет.

— Ведьма.

Маринка выскальзывала из его объятий и, смеясь, убегала. Иван, матерясь на чем свет стоит, брел в шинок.

Дома встречал отец:

— Где шатался, непутевая головушка?..

— Собак гонял.

— Не наводи на грех. Пьешь?

— Али у меня рта нет? Пью. Али мне у тебя еще увольнительную записку просить? На службе надоело...

Старик оглаживал бороду и вздыхал:

— Женить тебя, Ванька, надо.

— Не хочу, батяня. От бабы порча нашему молодечеству. Казачество есть мой дом и моя семья.

— Золотое твое слово, сынок... А чего ты, я заметил, беса тешишь — лба не крестишь, в церковь ни разу не сходил?

Иван молчал.

— У-у, супостат... И как тебя земля носит? В библии, в Книге царств, о таком олухе, как ты, сказано...

— Что мне библия? Нельзя по одной книге тысячу лет жить, полевой устав и то меняется.

— Язык тебе вырвать с корнем за такие слова... Погоди, господь батюшка тебя когда-нибудь клюнет за непочитание родителя.

— Ну, батяня, будет он в наши с тобой дела путаться? Как первый раз сходил в атаку, так и отпал от веры. Первая атака... И сейчас кровь в глазах стоит. Ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай больше не верю. Ничего и никого не боюсь. Душа во мне окаменела.

— И мы в походах бывали да страху божьего не теряли... Всему верить не хорошо, а не верить ничему еще хуже. — И долго еще старик скрипел, как сухое дерево на ветру.

На гулянках холостежи Иван целыми вечерами молча сидел где-нибудь в темном углу и посасывал трубку. Все, над чем смеялись парубки и девчата, казалось ему не смешным, а бесконечные разговоры мужиков о хозяйстве, о земле нагоняли на него смертную скуку.

Однажды Шалим привез на базар

убитого в кубанских плавнях дикого кабана. Отбазарив, он завернул к Чернояровым и через работника, калмыка Чульчу, вызвал Ивана.

Они отправились в шинок.

— Рассказывай, кунак, как живешь?

— Хах, Ванушка, сапсем палхой дела. Сакля старий, дождь мимо кришитикот. Отец старий, ни один зуб нет. Лошадь старий, тюх-тюх. Барашка нет, хлеп нет, сир нет, ничего нет. Отец глупий ругает: «Шалим, ишак, тащи дрова. Шалим, ишак, тащи вода».

Ваньку корежило от смеха.

Шалим долго сетовал на свою судьбу и все уговаривал дружка бежать в горы. Худое, чугунной черноты лицо его дышло молодой отвагой, движенья были остры, взгляд быстр и тверд. В длиннополой фронтальной шинели и в тяжелых солдатских сапогах он путался, как горячий конь в коротких оглоблях. Перегнувшись через стол и сверкая белыми, как намытыми, зубами, лил горячий шопот, мешая русскую речь с родными словами:

— В ауле Габукай живет мой кровник Сайда Мусаев, — будем кишки резить! Янасына, воллагы... На речке Шеша живет кабардинский князь, богати-богатий, — будем жилы дергать! Биллагы, такой твой мат! Хах, Ванушка, наша будет разбойника, нас не будет поймал, нас будет все боялся...

Иван тянул рисовую водку, усмешка плескалась в его затуманенных хмелем глазах... Слушал и не слушал азията, был доверху налит своими думками, а думки эти в зареве пожаров, в трескоте выстрелов мчали его на Дон, Украину, от села к селу и от хутора к хутору... Как сквозь сон дорогой виделись ему степные просторы, взблески выстрелов, сверканье гинжалов, слышались яростные крики, и рожки горнистов, и грохот скачущих телег, и топот коней, и тугой свист шашки над головой...

Он схватил руку Шалима:

— Друг!

— Ходым?

— Ах, друг, мне тут тоже не житье. Такая скука — скулы ломит. Надо уходить...

Они поменялись кинжалами. В шинке просидели допоздна и на улицу вышли в обнимку с песней.

Вернулся домой Максим Кужель.

Марфа — босая, с подоткнутым подолом: полы мыла — выбежала во двор и бросилась ему на шею: сама плачет, сама смеется.

Максим целовал ее и не мог нацеловаться.

— Рада?

— Так-то ли, Максимушка, рада, ровно небо растворилось надо мной и на меня оттуда будто упало чего.

Вытопила баню, обрала с него грязь и, расчесывая свалянные волосы, все ахала:

— Батюшки, вши-то у тебя в голове, как волки... А худющий-то какой стал, мослы торчат...

— Злое зло меня иссосало.

В хате стоял крепкий дух горячего хлеба. Выскобленный и затертый, точно восковой, стол был заставлен домашней снедью, сиял начищенный до жару самовар.

— Садись, Максимушка, поди настоялся на службе-то царской.

Дверь скрипела на петлях — заходили сродники и так просто знакомые, расспрашивали про службу, про революцию. Иные, поздоровавшись, извлекали из карманов козюхов бутылки с мутной самогонкой и ставили на стол. Забегали и солдатки:

— С радостью тебя, Марфинька.

И не одна украдкой смахивала слезу:

— Моего-то там не видал?

— Затевай пироги, скоро вернется. Война, будь она проклята, поломалась. Фронт рухнул.

В чистой, с расстегнутым воротом рубахе, досиза выбритый, Максим сидел в переднем углу и пил чай. Про войну он говорил с неохотой, про революцию с азартом. Тыча короткими пальцами в вытертый по складкам номер большевистской газеты, разъяснял — кто, за что, с кем и как.

Марфа с него глаз не спускала.

— В станице власть ревкома или власть старого казачьего правления? — спросил Максим.

— А не знаю, — улыбнулась Марфа, — говорили чего-то на собрании, да я, пока до дому шла, все забыла.

— Эх, ты, голова с гущей, — засмеялся Максим и близко заглянул в ее сияющие глаза.

— У нас по-старому атаман атаманит, — сказал кум Микола. — В правлении у них до сей поры портрет государя висит.

— Чего же народ глядит?

— Боятся. Известно, народ мученый, запуганный. Кто и рад свободе, да помалкивает, кто обратно ждет императора, а многие томятся ожиданием чего-то такого...

— Воскресу им не будет.

— Бог не без милости, — согласился кум Микола и оглянулся на станичников.

— Я так смекаю, мужики, ежели оно разобраться пристально, власть, она нам и ни к чему. Бог с ней, с властью, нам бы землицы. Скоро пахать время, а земли нет. Похоже, опять придется шапку ломать перед казаками?

— Не робей, кум, не придется, — с твердостью сказал Максим. — Али они — сыны земли, а мы — пасынки? Работаем на ней, а она не наша? Ходим по ней, а она не наша?

— Ты, Максим Ларионыч, с такими словами полегче, а то они, звери, и сожрать тебя могут.

— У них еще в носу не свистело, чтоб меня сожрать. Это раньше мы были, как Иисус христос, не наспиртованы, а теперь, испытав на позиции то, чего и грешники в аду не испытывают, теперь нам ничего не страшно. И в огонь пойдем, и в воду пойдем, а от своего не отступимся.

Наконец гости провалились.

Марфа кинула крепкие руки на плечи мужу и с пристонам выдохнула:

— Заждалась я тебя...

— Ы-ы, у меня у самого сердце, как золой переело, — он лепил ей в сухие истрескавшиеся губы поцелуй за поцелуем.

Она задула лампу и, ровно пьяная, натыкаясь на стулья, пошла разбирать постель.

...Максим пересыпал в руке ее разметанные, густые волосы и выпрашивал о житье-бытье.

— Жила, слезами сыта была... В степь сама, по воду сама, за камышом сама, тут домашность, тут корова ревет — ногу на борону сбрушила, дите помирает... Кругом одна. Подавилась горем.

«Купи, говорят, бутылку самогонки, а то з-з-з-зарезем». И ко мне с кинжалами. Ну, к-к-купил. П-п-провались в тар-тарары такая жизнь.

— Всякая кокарда с двухглавым орлом будет над тобой измываться... Взял бы грязное метло...

— О-б-б-обидно.

— Не дают нам вверх глядеть.

— Страдаешь за то, что живешь.

В кругу тесно сгрудившихся слушателей Максим громко читал истрепанный номер большевистской газеты, с которым не расставался уже с месяц. Почти все статьи он знал наизусть. Бегло читал по листу и, где было нужно, добавлял перцу от себя, так что получалось здорово.

Сдержанные голоса и шопот:

— Вот то ж большевики, сукины дети, каждым словом по буржуйам и по генералам бьют.

— Раз-раз—и в дамки.

— Шпиёны...

— То, дядька, брехня.

— Знаменитая газетка, она раздерет глаза темному народу... Слушаю, и злоба во мне по всем жилам течет... Эх ты, власть богачей золотого мира, и до чего ж ты нашу государству довела?

— Тише, Егор, не мешай слушать.

На плечо Максима с размаху упала тяжелая рука старого казака Леонтия Шакунова:

— Стой, солдат.

Максим обернулся и стряхнул с плеча руку:

— Стою, хоть дой.

— Как ты, суконное рыло, смеешь народ возмущать?

— А какая твоя, старик, забота? Ты что, начальник надо мной или старый полицейский?

— Га-га-га, — загремели многие глотки.

— Не пяль хайло и грубить мне не могли. Я есть полный кавалер, в трех походах бывал.

— Проснись, кавалер, открой свои глаза: свобода слова. Кругом имею право говорить, кругом—требовать.

Шакунов вытянул кадыкастую шею, взглядом выискивая в толпе казаков, потом откашлялся и, грозя седою бровью, заговорил:

— Чего вы, едрёна-зелёна, уши раз-

весили, всякую хреновину слушаете да еще и зубы скалите? Газетину эту надо арестовать, а солдата выпороть и выгнать из станицы к чортовому батьке...

— Не круто ли, дед, солишь?

— Послушайте, господа станичники, меня старого. Мне жить осталось недолго, врать грех, врать не буду. Кто такие большевики и красногвардейцы? То не бывалошная гвардия, в которую шли служить лучшие, отборные люди, как наши лейб-казаки. То — голодранцы, жулье, босая команда, золотая рота, отродье вечного похмелья. Ни дома, ни хозяйства у них нет и никогда не было. Дела никакого не знают. Говорят с ругней, едят и пьют с ругней. С Дону казаки их пугнули, и наша рада своих из Екатеринодара пугнула. Вот они и бродят по Кубани шайками, как волки, вынюхивают, где бараниной пахнет. Чего добудут, то и пропьют, прогуляют али на папироски растратят. Хай-май, ничего им не жалко. Нынче тут, завтра, бес знат, где. У вас и хаты, и кони, и коровы, и кабаны, и плуги, а, может, у кого и косилка с жнейкой. Так что ж, господа станичники, пустим большевиков на дворы, в хаты да и скажем: «Берите наше нажитое, спите с нашими женками?..»

— Слушаю я тебя, Леонтий Федорович, и диву даюсь,—перебил его седусый вахмистр Луговой. — «Кони да коровы, кабаны да тягалки, кисель и сметана...» Как у тебя бесстыжие глаза не полопаются? Как ты ухитришься всех на овой салтык мерять? Я — казак, ты — казак. У тебя один сын в Армавире писарем служит, другой при генерале холуем, а мои соколы с первого шагу войны за Расею бьются и груди свои молодецкие крестами да медалями изувешали.—Грязной тряпичей он отер слезящиеся глаза и всхлипнул.—У тебя посева четыреста десятин, трех годовых работников содержишь, а мне 65 годиков стукнуло, просят старые кости на покой, ан нет: сам над своим наделом горб гну... Изпод ногтей пшеница растет.—Он поднял задубевшие от работы руки и показал их всем, потом чиркнул спичку о корявую ладонь: спичка вспыхнула.—Это ты можешь понять?

— Тут и понимать нечего... Ты, Лу-

говый, хоть и вахмистр, а на все стороны дурак. Ни одному ли мы государю служили и не одинаковыми ли пользовались правами? Кто тебе наживать не велел? Пьянствовать надо было полегче да слушать тех, кто старше тебя чином.

— Служба царская до богатства меня не допускала. Сам двенадцать годов на сверхсрочной оттрубил, а сыны тут до самой женитьбы из ярма не вылазили, на таких, как ты, батрачили. Сам отслужился, деток стал на действительную собирать. Выставил трех строевых коней, справил три полных комплекта амуниции и закашлял, и до сего дня кашляю. Нынче сыт, а завтра, может быть, придется с сумкой на паперть идти? Каково это на старости лет?

— Ну, мой двор стороной обходи. Лучше кобелю кусок брошу, он хоть тварь и бессловесная, спасибо не скажет, а хвостом повилает. Через вас, таких дуроломов, и на нас такая туга пришла...

Луговой еще что-то хотел сказать, но побелевшие губы его задрожали, он плюнул и, повернувшись, ушел.

— Батюшка нонче в проповеди справедливо раз'яснил: «Труссы и мятежи, и кровопролитные брани... На крови Кубань зачалась, на крови и скончается».

— Надо спасать революцию, а не Кубань. Останется жива революция, цела будет и Кубань.

— Ох, эта ваша революция... Переобует она казаков из сапог в лапти.

— Да, пойдет теперь кто туда, кто сюда... Сто лет будем враждовать и не разберемся.

— Не правда, — сказал Максим и снова развернул газету, — разберемся. Мы стали не такими темными, какими были в четырнадцатом году. Можем разобраться, где квас, где сусло, кто говорит красно да мыслит черно...

Шакунов покосился на газету:

— Ты, солдат, ее спрячь и сегодня же представь атаману на рассмотрение. Нас, казаков, не переконовалишь на мужичий лад. На каждое твое слово у меня десять найдется. Мой сказ короток: шашка — казачья программа. Кулак мой — вам хозяин. Вот он, не моченый, десять фунтов, — он воздел

волосатый кулак и покрутил им над толпой.

Гвардеец Серега Остроухов, недавно вернувшийся из Финляндии, протискался к нему и сверкнул глазами:

— Ты, Леонтий Федорович, сперва руки отмой после 905 года... Твои руки в крови...

— Цыц, сукин сын! Всех вас разбойников лишим казачьего звания и наделов. Не допустим порушить порядок, который наши отцы и деды ставили. Не видать вам нашего покору, как свинье неба.

Остроухов схватил его за горло:

— Зараз глотку перерву...

Зашумели было, зарычали, но в эту минуту из правления на крыльцо в сопровождении станичного атамана и стариков вышел одетый в синюю черкеску гвардейского сукна Бантыш.

Площадь притихла.

Бантыш снял косматую папаху, поклонился и осипшим от многих речей голосом крикнул:

— Здорово, господа станичники!

Толпа качнулась и недружно в разноробой ответила:

— Здравия желаем, ва-ва-ва...

— Гляди, какой бравый?

— Орел.

— Он человек проезжий, стравиг нас да и дальше, а нам расхлебывать.

— Этот наговорит... Одному такому же усачу мы на киевском вокзале добре мускула правили.

— Тише вы, горлохваты, слушайте оратора. Никакого соображения в людях нет. Ведь это вам ни тюха-митюха и ни кляп собачий, а его высокоблагородие господин полковник.

Бантыш по-атамански отставил ногу и заговорил:

— Достохвальные казаки! Настало время сказать: то ли мы будем служить панихиду по казачеству, то ли все, как один, гаркнем: «Есть еще порох в пороховницах!» Был один Распутин и то сколько горя причинил, а ныне вся Россия распутничает, и ее ж сыны продают ее направо-налево: грабежи, убийства, партийная борьба, святых церквей разорение. Россия поскользнулась в крови и упала, пусть сама подымается, мы ее не толкали. Нам, кубанцам,

потомкам славных запорожцев, надо подумать, как бы утвердить добрый порядок у себя дома. В Екатеринодаре заседает наша войсковая рада. Есть у нас, слава богу, и свое казачье войско. Будет и казна своя и законы... Кубань сама себе барыня...

— Так, так, справедливо...—трясли бородами старики, а в дальних углах площади уже снова разгорались споры.

Фронтоник Васянин — глаза блестят, руками машет — кричал громко, ровно его окружали глухие:

— Тут тебе земля дворянская, тут — монастырская, тут — войсковая, а где ж наша, мужичья?

— Ваша в Рязанской губернии, там вам пуп резан, туда и валите новые порядки наводить.

— Я четыре раза ранен...

— Дураков и в церкви бьют.

— По-моему, надо порешить нам, фронтоникам, общим голосом — разделить пай по всем живым душам и греха больше не будет.

— Меня, друг, с мужиком, с бабой да с малым дитём на равней... Мы за Кубань кровью своей разливались, костями своими ее сеяли. У нас на кладбище одни женки да матери лежат, а казаки — кто на Кавказе сгинул, кто в чужих землях утратился. Мы службой обязаны.

— И мы службой обязаны.

— Погоди, кривой, дотяжкнешься.

— Не грози...

— И другой глаз тебе надо выхлестнуть.

— Ты мне глаза не выковыривай, хочу дожить и посмотреть на погибель таких барбосов, как ты.

— Не доживешь.

— Доживу.

— Не доживешь.

— Доживу!

Казак кулаком опрокинул кривого и начал топтать его. Более спокойные растащили и развели драчунов.

Около правления, по предложению Бантыша, довыбирали члена рады. Дмитрий Чернояров, как того требовал обычай, отбрыкивался:

— Увольте, господа старики. Вы ме-

ня не знаете, не знаете, куда я вас поведу? Выбирайте коренного станичника.

— Мы тебя знаем, и батька, и дед твоего знаем, послужи.

— Не могу.

— Послужи, Дмитрий Михайлович.

А невдалеке молодой казак стоял ногами на седле и, картинно скрестив на груди руки, говорил речь:

— ...Мы не против рады, но и с большевиками драться не хотим. Пускай рада сама себя защищает. Господа казаки, которые фронтоники! Пора нам опаматоваться, куда мы идем и за кем? Кресты и медали, награды и золотые грамоты, что нам, дуракам, навертывали на шею, тяжелее камней... Валили они нас царю под ноги...

— Не к делу, не к делу...

— Безотцовщина.

— Геть, чертяка!

— Остро говорит. Чей таков?

— Ванька Чернояров.

— Эге... Так и печет им в глаза, так и печет. Ну, и бедовый, пес.

— ...Старики, до кой поры вы будете нас уговаривать и осаживать? Вы, верные слуги его императорского величества царя Палкина, привыкли протягивать руки за полтинниками, вам и жалко расставаться со старым режимом. Мы, ваши сыны и внуки, воевали, а вы на печках снохам фокусы показывали и блаженствовали?.. Через золотые погоны у меня сердце наядрило, как чирый! Не забудем, как они, эти полковники да генералы, над нами издевались! Сторите вы вместе с ними! Долой! Долой! Долой!

— Геть.

— Плетей ему!

— Арестовать!

— Ура-а. Вра-а-а...

— Приступи! Хватай его!

Над головами стариков заколыхался целый лес палок.

Ванька пал на седло,

гикнул

и, сшибая конем неувертливых, прорвался в улицу, поскакал в аул к Шалиму, только пыль завилась.

(Продолжение следует)